

...И

еще у меня теперь есть свой маленький Париж. Раньше я открывала глаза, и — ничего, только обои в мелкий цветочек. А теперь, просыпаясь, сразу попадаю в простор утренней, еще не многолюдной улицы (не нашей, не нашей, наши покрыты надоевшим асфальтом, а эта вымощена камушками, которым — сколько столетий, и кто только по ним ни ходил?!), а в конце улицы — знакомый силуэт Эйфелевой башни. Без Эйфелевой башни — какой же Париж?

В моем Париже всегда одна и та же погода — мелкий дождичек сыпет с неяркого, хмурого неба, но он совершенно не портит настроения, наоборот — умиротворяет, внушает мысли о постоянстве и стабильности человеческого быта и бытия, проявляющихся в том числе и в этом: неизменной сменяемости времен года. Сейчас дождь и осенняя хмарь, но потом будет зима с белым снегом, а потом с небес польет уже другой — веселый, весенний дождик, обещающий роскошные прелести лета. И будет так — внушает картина — долго-долго...

Свой Париж я купила совсем недорого — всего за триста сорок рэ. Почему так дешево? Ну, это же не Ренуар, не Клод

Моне. Однако оченя на них похоже. В основе изображения — impression — впечатление... Потому, видно, и задело. И подвигло на незапланированную покупку. Потому что вообще-то до сих пор я не позволяла себе приобретать ненужные вещи. Пальто к зиме — нужно. Стол, шкаф, диван — как без них? Нет, можно, конечно, спать на раскладушке, но не в нашем же с тобой возрасте. В нашем возрасте нужно размещать свое тело свободно и вольно, чтобы оно сумело (успело) за ночь отдохнуть.

В нашем возрасте вообще надо следить за режимом, питанием, здоровьем. Это немного скучно, но — надо. Впрочем, не так уж и скучно: с некоторых пор мне стало нравиться, например, рано вставать. Вернее — просыпаться. А вставать — зачем с этим спешить? С тех пор, как на мелких цветочках обоев появился кусочек Парижа, мои утренние мысли стали более оптимистичными (ну, об этом я тебе уже сказала), а еще (и об этом говорить даже немного стыдно) более эгоистичными. Да-да, дорогая моя подруга — вот до чего я дожила-докатилась. Раньше я (да и ты тоже) была убеждена, что жизнь надо приносить в жертву детям. Нет, не в жертву. Просто ты их родила, ты их вскормила и вырастила, и они тебе — дороже всего на свете. Дороже даже человека, который тоже участвовал во всем этом: чтобы родить, чтобы вскормить, вырастить и отпустить в самостоятельную жизнь.

Вот... Тут-то трагедия и началась. И у меня, и у тебя тоже. Мы их так не хотели отпускать! Мы боялись, что без нас им будет хуже! Ах, как мы этого боялись!

И дождались... Дождались такого, что, кажется, в самом страшном сне не могло присниться. Помнишь, ты написала мне (мы тогда еще писали друг другу нормальные письма на нормальной бумаге): «Кажется, все им отдавали: время, силы, здоровье. Себе пальто кое-какое, им — самое дорогое и модное. Себе помаду за восемьдесят копеек, им — польскую косметику. А они выросли, и... Однажды приехали в гости: разодетые в пух и прах, по последней, естественно, моде, и, увидев наши с отцом одежды, дочь изрекла: «Вы сами себя выбросили на помойку». Я не сразу поняла, о чем она. Кажется, все у нас, как у людей: на работу ходим, книжки читаем, даже за новинками кино и театра зачем-то следим. А потом глянула на мужа в трениках... на себя в старинном халате...

Как обидно стало! Как горько! Даже не столько обидно, сколько вот именно горько»...

Вот так... А теперь давай подумаем, почему это оказалось возможно — то, что дочь сказала тебе такие слова. Тебе не кажется, что мы сами дали повод к этому? Мы уже привыкли, более того, это уже въелось в нашу кровь: экономить на себе ради них. Сами пусть как-нибудь, а им — самое лучшее. Мы не можем отказаться от этой привычки даже сейчас, когда они живут уже не с нами, когда сами зарабатывают себе на жизнь. В нас живет подсознательный страх: упаси Бог на себя лишнюю копейку истратить — вдруг она им понадобится, спросят, а нам нечего дать. Да лучше мы в трениках... в застиранном халате...

Нам кажется, что они должны все это понимать. А они нас за это... презирают! Презирают, и считают, что имеют на это полное право.

Вот-вот: горько... Думаешь, у меня не так? Все точно так же. Вспомнить хотя бы прошлое лето. Иду с огорода. День был знойный, и я, пропальная, вымучилась до доньшка. И вот иду домой, а навстречу дочка: свеженькая, легкая, красиво одетая. Глянула я на себя ее глазами и ужаснулась: потная, косматая, ноги еле волочу... Сколько раз я слыша-

ла от нее: у нас совсем другая жизнь, более огороды в ней совсем не нужны. Нам они и самим уже не нужны, нам они уже в тягость, но... наши зарплаты известно какие, а их-то, любимых, отдохнуть к нам приехавших, хочется угостить свежим огурчиком, помидорчиком прямо с куста. Вот и пластаемся на этих грядках.

Теперь представляешь, как мы в их глазах выглядим? Убого одетые... с потными от огородной работы спинами и лицами... А мы ведь еще лезем и с советами. Учим жизни. А разве можно принимать советы от таких, как мы — убогих и жалких? Чему мы можем научить — чтобы стать такими же, как мы?!

Знаешь, какая мысль мне пришла однажды в голову, когда я любовалась на свой маленький Париж? Я подумала о том, как по-разному живут люди. Те же французы, например, или американцы. У них привычно такое положение вещей: вырастили ребенка — и гуд бай, бэби. Живи самостоятельно. Сам зарабатывай себе на жизнь и учебу, сам решай свои проблемы — ты же не раз позиционировал себя взрослым. Ну и — будь им. Со всеми вытекающими...

У нас, русских, не так. Сначала детей растим. Потом учим. Потом помогаем купить квартиру. А когда появляются внуки — все начинается по новой, только на другом витке. Одна загвоздка: здоровье-то наше уже не то. Силы не те. А детки этого не понимают и не замечают: они уже привыкли к тому, что мы всегда, при любой их просьбе готовы вытянуться в струнку и взять под козырек. И попробуй, пожалуйся на здоровье: ах, вы нас не любите... вы внуков не любите...

Француженку или американку этим не пробьешь. А мы сразу в обиду, в слезы, мы готовы наизнанку вывернуться, чтобы доказать, что это не так: да любим, любим... грузите еще — все вытерпим!

Знаешь, почему еще я этот Париж приобрела? Там, в магазине, забрезжила вдруг догадка: он поможет мне вспомнить то, о чем я уже забыла. Я забыла, например, что, кроме детей, у меня ведь и в самом деле есть еще муж — мужчина. Мужчина, которому можно — и нужно! — нравиться. Ты погляди на этих парижанок: дождь, все под зонтиками, все в плащах, но какие это зонтики, какие плащи! А тупельки! А мы ведь себе одежду уже пенсионерскую выбираем. Мы уже стесняемся выглядеть хорошо. Так что, может, мы и заслужили это: «сами себя на помойку»... Слушай, а может, нам это не как обиду, а как руководство к действию воспринять? Давай устроим, наконец-то, сами для себя, шопинг! В газетах считаешь — сколько наши эстрадные звезды на один поход в магазин тратят? Тысячи. Долларов. А мы проявим чудеса изобретательности — уложимся в сотни. Рублей. Можем мы себе это позволить — хотя бы один-то раз? И ведь это будет — на данном витке жизни — как раз ради детей. Вдруг мы начнем им нравиться? Вдруг они посмотрят на нас с интересом?

Признаюсь честно, как на духу: однажды я так и сделала. Вот как раз прошлым летом, когда детки уже уехали. Извлекла из заветного места записку — и на рынок. Хожу по рядам, присматриваюсь, по привычке, к тому, что подешевле. Думаю о том, что могло бы понравиться... дочери. И ловлю себя на мысли, что дешевое-то ей как раз и не понравится. Что же делать?! Остановилась у палатки с сарафанами (на улице еще лето, жарко, а я в майке потом обливаюсь). И тут продавщица показывает мне расчудесный сарафанчик и говорит: «Померьте. Это — ваше». — «Почему же мое? — спрашиваю. — Это для более молодого возраста. И дорого,

к тому же». А она: «А вы примерьте. И увидите, что ты еще достаточно молодая. Просто привыкли носить незаметное. А что касается цены... Так ведь он того стоит! Посмотрите, как сшит. Посмотрите, как отделан... а расцветка...» Уговорила! Надела я тот сарафан, и... не узнала себя. И вправду — еще не старая. А если купить еще вон ту панамочку — почти шляпку, с кружевцами...

В общем, когда я пришла домой, и надела все это к приходу мужа... Он долго смотрел на меня, не говоря ни слова. А потом: «Ходишь в застиранных штанах да майках. А сейчас... прямо королевшна...» Французенка тут бы улыбнулась кокетливо, а у меня... закапали слезы. На новый-то сарафан...

И все-таки дело не в одежде. Не только в ней одной, ты согласна? Даже если мы оденемся в шелка и кружева с головы до ног... одно это нас с нашими детьми не примирит. Не объединит. Помнишь, в другом своем письме ты написала: «А недавно моя доченька звонит, и советует прочитать книжку «Пути материнской любви». Я сначала подумала, что ослышалась: не поняла, говорю, повтори. И она опять: «Пути»... Слово это резануло меня по сердцу так, что оно, кажется, до сих пор кровоточит. Это с каких же пор материнская любовь стала путями?! Ты учительница, объясни мне, медицинскому работнику среднего звена...»

Господи... Если бы я сама знала. Я, сколь работала в школе, все одно объясняла: мать — самое святое, что есть у человека. Этому учит классика. Лучшее из нашего современно и зарубежного — о том же. Но вот нашелся среди новомодных «философов» такой, что взял на себя смелость (наглость?) внедрять в сознание наших детей мысль: матери сковывают движения вашей души и воли и не дают развиваться вашим способностям. И мысль эта нашим деткам очень понравилась. А если так... ну и давай отпустим их на волю! Может быть, мы неправильно их любим? Может быть, любить — это как раз-то отпустить от себя, дать чаду возможность идти самостоятельно, не опираясь на тебя, как на костыль? Может быть, именно за это они и начнут нас уважать?!

Так что — давай отпустим!

А чтобы не завывать от обрушившегося на тебя одиночества... купи себе Париж!

Знаешь, три века назад в этом прекрасном городе жила женщина — маркиза Мари де Севинье, которая в похожей ситуации — дочь вышла замуж и уехала жить в Прованс — придумала себе простое занятие: стала писать ей письма. Маркиза была знакома с министрами и мушкетерами, философами и куртизанками, с Корнелем, Мольером и самим Людовиком Шестнадцатым, так что ей было о ком и о чем писать. У меня подобного ранга и разнообразия знакомых нет, но... я тоже пишу своей дочери письма. Мадам де Севинье свою переписку опубликовала и стала автором самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия, а я... я свои письма даже не отсылаю. Почему? Потому что очень хорошо понимаю: что они против Великой китайской стены, которую выстроили между собой и нами наши дети?!

Иногда мне кажется, что мы живем с ними на разных планетах. Или даже в параллельных мирах. И никакое пересечение, никакая наша встреча (я имею в виду не приезд в гости, а именно — ВСТРЕЧУ) просто невозможны...

Знаешь, какой сон мне недавно приснился? Вечер, я иду по какому-то лугу, по дорожке, и эта тропинка-дорожка почему-то представляется

мне бесконечной. Кругом покой и благодать, а сердце болит. И я знаю, от чего оно болит: потому что я иду одна. На бесконечной дороге — одна. Ах, если бы...

И только в истекающем болью сердце возникло это «если бы», как я увидела, что навстречу идет молодая женщина. Вот она ближе, ближе... и вдруг я ее узнаю. Как затрепетало мое сердце! Как всколыхнулось надеждой! Вот она поравнялась со мной и... пошла дальше. Не останавливаясь, пошла. И я спиной, нервами, каждой клеточкой своей чувствую, как расстояние между нами увеличивается — с каждым новым мгновением, каждой секундой. Что делать?! В отчаянии замедляю шаг, поворачиваю голову назад (как в той песне: я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она...) и вижу: остановилась, оглянулась.

Боже, какое счастье!..

Если бы еще хоть словечко...

## ВОТ ТОЛЬКО ПРИДЕТ УТРО

Просыпаются они так: сначала Юрка — от звука будильника, потом мамка — от его, Юркиных, толчков. Сначала, когда Юрка только-только пошел в школу, была прямо беда — он так уставал от уроков, что утром шел на хитрость: будильник зазвонит, а он его стук по голове, и спит дальше. Раз опоздал на урок, два... На третий стало стыдно. Анна Павловна не ругалась, но так укоризненно смотрела на него, что дал он себе зарок: больше по будильнику не стучать, а сразу, как только он зазвонит, подниматься — пусть даже не проснувшись толком, пусть даже с закрытыми глазами. Проснуться ведь можно и потом, когда будешь умываться...

А скоро он стал просыпаться вместе с будильником. И оказалось, это даже приятно: чувствовать, что у тебя есть характер.

Мамке же на будильник было наплевать. Будильник можно было завести и во второй, и в третий раз — она его не слышала. Она спала так, словно на всю ночь проваливалась в глухую, глубокую яму, вытащить из которой мог ее только он, Юрка. При этом словами сделать ничего было нельзя, словами можно было только помочь действию: Юрка подходил к мамкиной кровати, тряс ее за плечи и приговаривал:

— Вставай, мам, ну вставай, пора.

Мамка невнятно мычала, отворачивалась, но он проявлял настойчивость. И в конце концов она открывала мутные глаза, спрашивала сонно:

— Что? Зачем?

— Что-что, — терпеливо втолковывал сын. — Вставать пора, собираться на работу.

Тяжелый то ли стон, то ли вдох... Мамка изо всех сил потягивается, замирает на минуту, потом садится на кровати. Сын бдительно следит за ней: если сейчас отвернуться, отвлечься на другие дела — мать снова опрокинется на подушку. И потому он командует:

— Подъем, подъем! Сходи в туалет, умойся...

— Тьфу, дурак, — произносит мамка первые внятные слова, и это означает, что она окончательно проснулась и за ней уже не надо следить: сейчас она встанет и сделает то, что сказано сыном.

А Юрка тем временем подогреет картошку, вскипятит чайник:

— Садись завтракать!

Есть мамка не будет. Она только нальет в чашку крепкого, до черноты, чая, и будет медленно пить, с помощью чая окончательно оживая и

возвращаясь к жизни. Вскоре она совсем придет в себя. Настолько, что обретет способность хохмить:

— И откуда ты такой на мою шею навязался?

— Откуда, откуда... Поди, и сама знаешь.

— Я-то знаю. А ты, поди, думаешь, аист принес? Ха... Переспала, с кем захотела, вот ты и получился.

— Ладно, собираться пора.

— Собираюсь, собираюсь... И что бы я без тебя, родимый мой, делала?

В мамкином голосе привычное утреннее ехидство, и это означает, что она, слава Богу, жива, здорова и готова к предстоящему рабочему дню.

Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя...

Пушкина Юрка любит. Когда кто-то вслух читает Пушкина, даже про бурю, ему становится уютно, словно в морозный день у печки. А уж если читает Анна Павловна...

А еще под Пушкина хорошо думать. Вспоминать что-нибудь из детства. Детство у него, считает Юрка, было до школы. Жил он в основном у бабушки, но мамка время от времени навевала его там. Один день запомнился ему особенно четко...

Деревня готовилась к празднику, все пекли пироги, убирали и украшали их веточками берез. Бабушка тоже суетилась у печи, а Юрка смотрел на все ее приготовления и недоумевал: почему не чувствуется праздника? Ведь вон — и пироги отправились в печку, и в доме все прибрано, и солнышко за окном теплое, а праздника нет. Юрка сидел у окна и смотрел на дорогу, вернее, на тропинку, сбегаящую с пригорка прямо на бабушкину улицу. Эта тропинка, знал Юрка, шла от большака, а большак шел от райцентра, из которого на попутке к Юрке приезжала мать. Юрка представлял, как она едет в кабине грузовика и насмешничает с шофером (с мужчинами мамка серьезно говорить не умела, а все смеялась и смеялась), тот тоже похохатывает в ответ, но у поворота на деревню мамка уже без смеха скажет:

— Все, приехала. Дальше рули один.

Машина послушно остановится, мамка легко, как девчонка, выпрыгнет на дорогу и самое большее через полчаса покажется вот на этой тропинке. Юрка сидит и терпеливо ждет. Пусто... Пусто... А вот... мамка!

— Бабушка, мама приехала!

Бабушка семенит к окну, и Юрка чувствует, как все вокруг наполняется праздником: и дом, и все вокруг дома, — все-все, до самого неба!..

— ...Юра!

Анна Павловна немного медлит, давая ему возможность прийти в себя, потом спрашивает:

— Ты сегодня готов отвечать?

— Конечно.

Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя...

Читать Пушкина такое же удовольствие, как и слушать. Буря у него и воет, и плачет, а — нестрашно, сердце даже радостно замирает отчего-то...

— Садись, пять.

Еще бы не пять — за бурю-то... У него, Юрки, есть дома книжка,

«Избранное» называється, так он там даже и про Анчара читал, и про Царское село, и даже про... любовь. Учителя почему-то считают, и даже их Анна Павловна тоже, что дети в любви ничего не понимают — рано им, не доросли. Не доумнели. А взрослые — понимают?! Вон мамку взять. Сказанула сегодня... Врет ведь, врёт! Юрка знает, бабушка рассказывала, был у него отец. Был, как у всех. Только ушел. К другой женщине. Мамка хоть и хорохорится, а сама жалкует о нем, еще как жалкует (так говорила бабушка, но и Юрка думает точно так же). Жалкует, но говорит всякую ерунду. А нет, чтобы сказать: «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою»... Или они, взрослые, уже позабыли такие слова?

— Ребята, записываем задание на завтра.

Завтра — это завтра. А надо еще сегодня: истопить печь, помыть пол. Приготовить что-нибудь на ужин. Картошку жарил вчера. И позавчера тоже.

Сварить макароны?

— Юра, ты задержись на минутку...

После школы он, как всегда, пошел в мамкину столовую. Мамка в белой косынке и грязном переднике (надо будет сказать, чтоб постирала) убирала со столов посуду. Пока трезвая, — с облегчением вздохнул Юрка.

Она посадила его за угловой стол, принесла тарелку с супом и еще одну — с картошкой и котлетой:

— Ешь.

Села напротив, подперла щеку рукой и стала смотреть на него. С едой Юрка управлялся сноровисто. А мамкины глаза, пока она молчала, были такими хорошими.

— Ты бы пришла сегодня пораньше.

— А что?

— Поговорить надо.

— Ха...

— И не пей нынче, ладно? Ну, постарайся.

Мамка отняла руку от щеки:

— А вот этого обещать не могу. При всей моей любви.

— Ну, я прошу тебя. Поговорить надо.

Видно, проскользнуло в его голосе что-то такое, что заставило мамку все-таки согласиться:

— Ладно, попробую.

Из всех домашних дел больше всего Юрка любил затапливать подтопок. Непонятно, почему так возмущались тетечки из родительского комитета, когда увидели его за этим занятием в первый раз? Наверно, потому, что тогда он учился всего в первом классе (зато теперь — в третьем!), а у них в голове прочно сидит: спички детям доверять нельзя.

Так ведь — детям же! Можно было бы догадаться, что он уже не имеет к этому сопливому племени никакого отношения! Догадалась же Анна Павловна... Вон сегодня, после уроков, прямо с этого и начала:

— Юра, ты уже взрослый. И я решила с тобой посоветоваться.

Он сразу понял, что новости у учительницы неважнецкие — так уж она на него смотрела. И точно. Оказалось, родительский комитет и директор школы после взаимного долгого совещания решили лишить его мамку родительских прав. Анна Павловна, когда говорила это, изо всех сил старалась сделать вид, что ничего такого страшного не говорит: ну, решено

и решено, да ведь еще не сделано, — значит, пугаться рано. «Понимаешь, Юра, тебе надо с мамой поговорить. Надо убедить ее как-то переменить свое отношение — к тебе, к жизни вообще. Ты ведь знаешь: твоя мама никого, кроме тебя, слушать не станет»...

Да уж, мамка у него такая: ей никто не указ. Ни школа, ни бабушка... Да бабушки уже и нет. Когда пришла пора идти ему в первый класс, она мамке так и заявила: «Все, до школы парня дотянула, больше не могу — помирать буду». И мамка привезла его в райцентр.

Домишко их стоит на окраине, и здесь почти такая же деревня, как у бабушки: у каждого дома огород и куры, и гуси, и каждый топит зимой печку или подтопок. У матери рабочий день до пяти, а приходит она и того позже, так чего же странного в том, что он научился топить подтопок? И вовсе ничего здесь нет хитрого: разрубил полено на щепки, сложил их шалашиком над скомканной газетой (а еще лучше — над тряпочкой, смоченной в керосине), сверху подложил дровишек покрупнее — и, пожалуйста, подноси спичку. Когда дрова хорошо разгорятся — подсыпай понемногу угля.

Какое же это удовольствие — смотреть на разгорающееся пламя! Смотреть — и думать о чем-нибудь. О будущем лете, например, о стареньком велосипеде в сарае, о речке. О мамке...

Беда в том, что все про мамку знают только то, что она любит пить вино и не любит наводить дома порядок. Но разве порядок — главное? Главное то, что она его любит!

Да-да, ехидничает мамка только по утрам. Вечером она совсем другая. Если трезвая — будет смотреть виноватыми глазами, начнет все выметать и скрести. Какой-нибудь торт вкуснющий сделает.

И даже если пьяная... Злая она будет только сначала, пока кричит: сволочи, подлецы, гады! Так мамка ругает мужчин, с которыми днем похохатывает. А вечером их же — в пух и прах... Отругавшись и открывшись, она начнет жаловаться:

— Ну, скажи мне, сын — ты же умный — отчего они такие подлецы?

— А ты брось их совсем.

— Брось... Так ведь я — живая!

— А я?

— Ты — ангел, — не с ехидством, как утром, а всерьез, со слезами на глазах, скажет мамка. И повторит: — Ты — ангел, и что бы я без тебя делала?

Она примется плакать, а он будет ее утешать. У них все немножко наоборот: будто он, Юрка, взрослый, а мамка маленькая... Юрка утрет ей слезы, уложит в постель, проверит, закрыта ли на замок дверь, подбросит в подтопок уголька и только потом тоже пойдет спать.

Он как раз заканчивал учить уроки, когда в дверь постучали. Размашисто, бесшабашно. Выглянул в выходящее на крыльцо окно: мамка. Такой пьяной она не была давно...

И вдруг ему стало обидно. Так обидно, что аж в глазах потемнело. Открыв дверь в коридор, он крикнул:

— Не пуцу!

— Я тебе не пуцу! Ишь, зараза какая...

— Раз тебе с ними лучше, то иди и живи у них!

Крикнул и испугался: вдруг вправду уйдет? Ногам было холодно (выскочил в коридор без тапочек), но ни вернуться в дом, ни открыть дверь не решался.



— Ну, Юронька.. Ну, касатик ты мой...

Сначала у Юрки что-то повернулось в груди, а потом уж он повернул ключ в замке.

И в первый раз за долгое-долгое время он вдруг почувствовал себя маленьким. Мамка уже спала, а он лежал на своем диване и плакал. Вот проснется она завтра — и что? Он же ничего не сумеет ей объяснить, у нее голова с утра соображать не будет. Напрасно Анна Павловна надеялась на него...

И — что же? Будет суд, она останется здесь, дома, а его отправят в интернат? Тетечки из родительского комитета уверены в том, что там ему будет лучше.

А может, и вправду лучше? Не надо будет самому топить подтопок и жарить картошку. И следить, чтобы мамка пошла на работу в чистом переднике...

Но ведь никто и касатиком больше его не назовет! Никогда! Смешное слово: касатик, а такое... такое...

Слезы были такими горькими, словно их кто-то настоял на полыни. Наревевшись вволю, Юрка вытер глаза кулаком и решил спать. Бабушка всегда говорила: утро вечера мудренее.

С мамкиной кровати доносилось тихое постанывание. Обычно Юрка его не замечал — привык, а сегодня мамкины охи и вздохи так и резали сердчишко. «А мамка — как она без меня? Что с ней — одной — будет?..»

Сегодня мамка не оставляла его даже во сне. Во сне она пришла домой трезвая и тихая, обняла Юрку, как маленького, и негромко спросила:

— Сынок, тебе тяжело со мной?

— Что ты, мам, что ты...

— Я ведь не всегда такая была. Было время — тоже бегала в школу. Однажды бабушка поехала в город на базар и привезла мне бусы. Бусики — так я звала их тогда: кругленькие такие пластмассовые цветочки, нанизанные на нитку. Надела их, посмотрелась в зеркало: ба, а ведь я красивая!

Мамка уронила руки и, глядя куда-то пред собой, неизвестно кого спросила:

— И зачем поверила, что красивая?

— Да ведь ты такая и есть! — хотел сказать Юрка, но, как это часто бывает во сне, им овладела вдруг немота: и хочет сказать — и не может.

«Ничего, вот придет утро — я и скажу», — решил он во сне.

Вот только придет утро...

## НИТКА РЯБИНОВЫХ БУС

Мать умирала.

Боледа она давно, третий месяц. Уходя на работу, Зойка ставила на табуретку возле ее кровати тарелку с едой — захочет мать поесть, а картошка или каша вот они, рядом. Поначалу, возвращаясь домой, она находила тарелку чистой: мать все съедала и даже находила в себе силы встать и отнести пустую посуду на кухню. Зойка ругалась:

— Зачем встаешь? Раз мочи нет — лежи. Копи силы.

— Все уж... Откопилась, видать, — неохотно отвечала Прасковья.

Зойка от этих слов пугалась, но тут же бодрила себя надеждой: а вдруг да отлежится мать? В прошлом году так же было: за одну ночь она высохла, побледнела до синевы, и утром к ней потянулись старухи — прощаться.

«Ты уж прости, Прасковья, если обидела чем...»

«Ты тоже прости меня...»

К обеду приехал из района сын, для всех — Михаил Трофимович, большой начальник; для нее, матери, — Мишка, насмешник и шалапут.

— Мать, ты что? Ишь, чего надумала! Придет срок — я тебе сам назову. А пока не смей!

И мать не посмела: на другой день, поминая Бога, села в кровати, еще через день кое-как, с великими трудами, встала, а на третий уже выговаривала снова приехавшему сыну:

— Ты что мне дров не везешь? Раз уж не померла — зимовать у себя буду. В своем доме.

— Мать, да я тебе... сразу колотых! — на радостях пообещал Михаил.

«Может, и сейчас так же? Полежит, полежит, да оклемается», — думала Зойка.

Но лучше Прасковье не становилось. День ото дня замечала Зойка, что еды на материной тарелке остается все больше, а однажды, придя с работы, она увидела, что тарелка с кашей вовсе стоит нетронутой.

— Мам, да ты никак не ела? — взялась ворчать по привычке.

— Appetitu нет, — глядя в потолок, ответила Прасковья, а когда потом перевела глаза на дочь, та увидела, что они медленно и неостановимо, как роднички, наполняются слезами.

— Мам, ну что ты? Чего плачешь-то? — опустилась Зойка на стул возле материной кровати.

— Бог с ней, с едой... Целый день одна — вот что плохо.

— Так ведь... работа.

— Какая еще работа? — недоуменно, как малый ребенок о непонятном, спросила мать. — Я умираю, а у них работа.

— Так ведь пока за газетами сходишь, да пока разнесешь, — заторопилась Зойка словами, чувствуя, как в душе ее что-то начало падать, проваливаться вниз, образуя немую, зияющую пустоту. — Про смерть, мам, ты и думать забудь. В газетах вон про должителей пишут: до ста и больше люди живут. Посчитай-ка, сколько тебе до ста? Полтора десятка! Это сколько еще жизни-то впереди...

— Правда, Зойк?

От надежды, нежданно прозвучавшей в материном голосе, Зойке стало совсем не по себе.

Утром она пришла на почту молча, без обычной своей песни. Начальница, метнув на нее пристальный взгляд, спросила:

— Что, совсем плоха мать?

— Совсем, — без всякой уже надежды согласилась Зойка. — Не ест, не пьет.

«Да если бы только это! — думала она дальше уже про себя, раскладывая газеты. — Если бы только это — было бы полбеды. Appetit — он всегда так, то уйдет, то появится. А тут... «Какая еще работа? Я умираю, а у них работа...»

Невозможные, непостижимые слова выговорила мать! За всю жизнь, пока не слегла, был ли у нее хоть один день без работы? Да она эти слова — работа и жизнь — и не разделяла никогда, друг без друга не мысля.

Семеро детей дал Бог Прасковье; нарожала она их до войны, Зойка — младшая, родилась уже после того, как отца, Трофима Игнатовича, воевать проводили. Увидеть его Зойке так и не пришлось...

И сколь помнит она в детстве, а потом в девичестве — материн день всегда начинался в четыре утра: доила корову, топила печь, потом торопилась к колхозной скотине.

Рабочего завода Прасковьехватило надолго... Вот только, прошлой весной, она донимала Зойку: сажай да сажай картошку. Зойка поначалу только руками всплеснула: какая, мол, картошка, другие в твои годы о печки не слазят, а ты...

— Неужто мы тебе картошки не дадим? — принялась она отговаривать мать.

— Как же — в доме живу, а усад пустой будет?

— Да тебе давно уже пора ко мне перебираться. Или, думаешь, сам против будет?

— Ничего я не думаю, а только, пока руки-ноги не отказывают, из дому не уйду.

Пришлось сажать. Уж и казнилась Зойка летом, глядячи, как мать — где внаклон, а где прямо на коленях — полет осот да молочай; прибегая помочь, она то ворчала на нее: «Выпросила себе заботу», то вдруг жалела до слез, потому что догадывалась: отними у матери эту заботу — она забудет, зачем и жить на белом свете...

И все-таки осенью, после Сашиной свадьбы, опять позвала мать к себе. Та завела старую песню:

— Дом-то, Зойк... Дом бросать жалко.

Подтопок с началом холодов Прасковья взялась топить сама. Потом стала дожидаться, когда дочь пойдет на работу да по дороге на почту завернет к ней, выгребет золу, по новой заправит печку. Ей тогда только и останется — угольку подбросить.

В январе поддали морозы. В один из самых холодных вечеров Зойке как шепнул кто: сходи-ка к матери. Приходит — а у той холодина. Сунулась к печке — черным-черна.

— Мам, ты что не подкладываешь?

— Встать не могу.

Тут уж от уговоров она перешла к делу. Сходила за мужем, Санькой, и они на салазках перевезли мать к себе.

...И вот лежит она уже третий месяц. На дворе весна собирается с силами — днем припекает солнышко, по улицам не пройдешь от грязи — а материны силы тают. Как вешний снег...

— Баб, как ты тут?

Прасковья открыла глаза и некоторое время смотрела на внучку молча. Потом разлепила высохшие на нет, спекшиеся губы:

— Ты, Саш?

— Ага, только приехала. Ну, как ты?

— Да вот... помираю вроде.

Зная уже, какими словами успокаивать бабушку — мать предупредила, Саша принялась наговаривать их и, как и мать, с горестным удивлением обнаружила: бабушка верит! Бабушка, которая всю жизнь наставляла ее надеяться только на свои руки да свой разум, ловит каждое слово ее наивного лепета, ее отчаянного вранья. «Бабушка — это уже не бабушка», — пришла к ней пугающая, шальная мысль, но Саша не дала ей об-

житься ся, освоиться в себе. «Не может быть, не может быть, — принялась она гнать от себя мысль-предательницу. — Не может этого быть, потому что вот только, прошлой осенью...»

Прошлой осенью они копали картошку на бабушкином усаде. Приехали почти все ее дети из тех, что живут близко: дядя Миша, дядя Коля, тетя Шура пришла из Ивановки. Ну, и она с отцом и матерью. День был хоть и сухой, солнечный, но ветреный. Бабушке дома одной не сиделось, и она то и дело выходила на огород, стояла, опершись на батожок, смотрела...

— Мам, продует, — говорил кто-нибудь из великовозрастных детей, — шла бы домой.

Бабушка, постояв еще немного, возвращалась, и Саше грустно было смотреть, как она осторожно переставляет палку, выбирает, куда ступить...

Покончив с работой, они наварили молодой картошки, уселись в бабушкином доме за стол. Дядя Миша поставил на стол бутылку. Разлив по стаканам, спросил:

— Мать, пригубишь маленько?

— Нет, робяты. Вы уж сами.

Бабушка сидела у печи, сложив руки на своем батожке, и, казалось, дремала, слушая разговор. И вдруг насторожилась. Это после того, как тетя Шура похвалила:

— Картошка-то, мама, у тебя на славу уродилась.

— А с чего ей плохой-то быть? — живо, как прежде, откликнулась бабушка. — С чего ей плохой быть, если все лето полола?

Помолчав немного, бабушка добавила с ноткой торжества:

— Сама.

— Сдавать будешь? — обрадовавшись бабушкиному оживлению, подержал тему дядя Коля.

— Буду. Мишка вон машину прислать обещался.

— Сдадим, мать! В лучшем виде! — подтвердил сын-начальник. — Готовь чулок побольше.

— Чего? — не поняла дяди Мишиной шутки бабушка.

— Чулок, говорю, готовь побольше, чтобы деньги было куда класть.

— Какой чулок! Внучка вон замуж собралась. На платье надо.

Она, Саша, обрадовалась тогда, а сейчас отчетливо поняла: не для себя — для нее пласталась бабушка все лето на огороде. А она, идиотка, на моря укатила, ей, видите ли, нужно было восстановить силы, затраченные на выпускные экзамены в институте.

...Туго натянутое платье на Саше чуть заметно заколыхалось: кто-то, еще безымянный, ворочался внутри, пробовал свои маленькие пока силенки.

И тут бабушка вдруг сказала:

— Тяжело сидеть-то? А ты ляг. Ложись, ложись... Чего меня сторожить.

«Нет, бабушка — это еще бабушка! — с благодарностью думала Саша, укладываясь на диване. — Все знает, все понимает, все чувствует...»

Когда Саша собралась замуж, подружки дружно завидовали: муж мужем, а ты еще городскую прописку и жилплощадь приобретешь, интеллигентных родичей заимеешь. Шутка сказать: будущая свекровь — преподаватель университета. Это стоит только Саше захотеть — и она вслед за любимым Костей прошмыгнет в аспирантуру...

Мать запаниковала: с такими сватами и родниться страшно. А бабушка... Бабушка только и сказала:

— Люди как люди. Нам руками привычной работать, им — головой.

Потом же, наедине, огорошила Сашу:

— А все-таки жить тебе с ними будет трудно!

— Почему, баб? — удивилась она столь быстрой перемене в бабушкиных речах.

— Ты в девках-то сколько просидела? То-то и оно... Одна жизнь привыкла, все про себя сама решать. А замужем жить...

Бабушка даже помолчала немного — для того, наверное, чтобы Саша прониклась важностью предстоящих слов, и закончила:

— Замужем жить — с мужем все пополам делить. А свекровь да свекра уважать да почитать.

— А как же твое «надейся только на свои руки да разум»?

— Э-э, мила моя... Тут не разъяснишь. Тут уж сама связывай, если сумеешь.

«Я, бабушка, кажется, связала, — думала Саша, засыпая. — Только не знаю вот — прочно ли?»

...В доме шумно и голосисто, и они с Костей сидят во главе стола. Рядом-рядом, близко-близко...

— Горь-ко, горь-ко!..

Родня у Поспеловых большая, от дружного крика стены дрожат. За свадебным столом нет только бабушки — «тяжело уж мне, Саш, не приду».

К бабушке они с Костей все-таки сходили. Отнесли пирогов, конфет; Костя разлил по стаканам шампанское: «Выпейте за наше счастье».

Бабушка помочила губы в шипучей, пузырчатой жидкости:

— Любите друг дружку. Уважайте. А вот вам и подарок.

Она приподняла край лежащего на столе полотенца, и они увидели... рябиновые бусы.

— Ты не думай, Костюшка, на платье я Саше дала. А уж так... вдобавок. Чтобы было у вас деток, сколь ягод на этой нитке.

Костя засмеялся:

— Так это не вдобавок, бабушка! Это — главный подарок!..

И вот сидят они за свадебным столом. На ней нежно-розовое платье (в белом она была вчера, в городе, в первый день свадьбы), и на розовой материи пламенеют рябиновые бусы. Костя смотрит на них и улыбается. И все улыбаются. Костина мама — тоже, только вот... ох, какая сложная у нее улыбка! Что-то она хочет сказать этой улыбкой, но что, что?..

Проснулась Саша от недоумения: как что? Разве она не знает — что?

Поняв, что вопросы свои она задает уже не во сне, а наяву, успокаивается: это теперь она знает ответ, а тогда не знала. Ничегошеньки не знала... Сидела с рябиновыми бусами на шее, и... Нет, опять не то! Разве она была за свадебным столом в рябиновых бусах? Куда там! Едва они с Костей переступили порог, вернувшись от бабушки, как родня дружно навалилась на нее: сними да сними рябину, бабушка уже старая, чего она понимает? «Разве в таких бусах сейчас ходят?».

Она и сняла, и положила бусы в коробку из-под конфет.

Когда в очередной раз навестить мать пришла из Ивановки дочь Шура, Прасковья ее... не узнала.

— Mam, ты что? — тормозила ее Зойка. — Это же наша Шурка.

Но Прасковья глядела пустыми, непонимающими глазами, бездумно переводя их с одного лица на другое. Вскоре дом огласился сплошным безысходным стоном.

Санька, единственный в доме мужик, стал пропадать где-то допоздна, домой являлся чуть ли не в полночь и сразу лез на печь, задерживал занавеску — через кухонную стенку стоны были не так слышны. Женщины же маялись в одной комнате с матерью. Устав за день от дел и переживаний, они, добравшись до подушек, хотели забыться хоть ненадолго. Но мать не давала. Привыкнуть к ее стонам было невозможно, и, забывая о том, что мать уже не понимает человеческой речи, они просили:

— Мама, дай передохнуть.

Прасковья в ответ опять стонала...

В одну из ночей, очумев от бессонницы, Зойка подошла к материнной кровати и, сама не зная зачем, запела:

Баю, баюшки, баю,  
Не ложися на краю...

Кровать была с металлической сеткой. Зойка качала мать и пела. Через некоторое время остановилась, прислушиваясь: стонов не было.

Этим они и стали спасаться: по очереди с сестрой качали мать, напевая песню, и Прасковья на какое-то время переставала стонать, заплутавшись сознанием в неверном сне.

Саша засыпала и просыпалась вместе с бабушкой, и оттого, что происходило это несколько раз за ночь, сны и явь у нее совсем перепутались.

Однажды она испугалась собственного голоса, выговаривавшего с обидой:

— Как вы не понимаете? У меня умирает бабушка, а я буду спокойно гулять в городском саду? Нет, я поеду в деревню... Переживания отразятся на моем ребенке? Но с каких это пор вы стали его жалеть?

Проснувшись она не от бабушкиных стонов — от страха: неужели она говорит это вслух? В доме тихо, все спят. И хорошо... Сейчас и без нее всем хватает переживаний.

Вздохнув с облегчением, Саша даже засмеялась тихонько: надо же, какая она смелая во сне! А в жизни? В жизни смелой была свекровь:

— Саша, у Кости большое будущее, ты должна соответствовать ему! Почему бы тебе тоже не поступить в аспирантуру? Девочка ты способная, я знаю... Ребенок? Господи, да у вас еще целая жизнь впереди!

Она, Саша, только и пролепетала тогда, едва выговаривая слова от стыда и смущения:

— Да... но первый аборт опасен.

— Господи, какие глупости! Все зависит от того, в чьи руки ты попадешь. А уж я постараюсь...

Бабушка опять застонала. Потом стоны вдруг оборвались, и в неожиданно наступившей тишине она четко, осмысленно спросила:

— Кто тут? Кто не спит? Несите меня скорей домой...

Прасковья, видно, чувствовала, что очнулась ненадолго, и потому спешила сказать главное, то, о чем раньше говорила между другими речами: «Положите меня дома. Оттуда и понесете...»

В следующую ночь они не ложились — стояли у Прасковьиной кровати, чувствуя, что эта ночь для нее — последняя. Прасковья уже не стонала — даже на это сил у нее не осталось, — а только хватала ртом воздух, трудно, редко. «За что ей такая мучительная смерть, за что? — ду-

мала Саша. — Может, как раз за то, что о смерти бабушка думала слишком мало? Вот та и мстит ей...»

В животе опять торкался кто-то, и Саша переводила глаза с бабушкиного лица на свой живот: Господи, как о н там? Может, свекровь права, и ей, ради н е г о, не стоило ехать в деревню раньше времени?

Горячие слезы, катившиеся по щекам, стали еще горячее — от стыда...

Последняя нить, связывающая Прасковью с жизнью, оборвалась на рассвете, и Прасковья наконец перестала чувствовать боль.

Обмывать ее пришла тетка Стеша, соседская старуха. Обмыла и удивилась перемене:

— Бабы, смотрите, какая она опять хорошая. Прасковья такая — ничего плохо делать не умела...

Днем Санька съездил в райцентр за гробом, и вечером, потемну, мать понесли в ее дом. Подтаявший за день ледок снова хрустел под ногами, звезды сверху глядели тоже подмерзшие, льдистые.

Топить у матери не стали — теперь ей так было лучше.

И снова — в последний раз — сталолюдно в Прасковьином доме.

— Кость, ты веришь, что бабушки больше нет?

— Са-ша...

— Странно устроена жизнь, непонятно.

— Это тебе-то? Учителю с высшим образованием?

— А что мы знаем, Кость? Только то, что знаем слишком мало.

— Тебе на философский надо было идти. В университет. А ты по ошибке в пед попала. А впрочем... это хорошо, что ты ошиблась.

— Почему хорошо?

— Представляешь, что было бы, встретиться ты с моей матушкой раньше?

— Что?

— У-у... Война миров! Зато теперь — мирное сосуществование.

— Слушай, она действительно смирилась с тем, что ее невестка библиотечные фолианты поменяла на пеленки?

— Думаю, да.

— А... ты сам?

— Са-ша... Ну сколько можно об этом? Хочешь, дам тебе самую страшную, самую нерушимую клятву?

— Хватит, хватит страшного! Хотя... страшно. Что день грядущий нам готовит?..

Роды начались на рассвете. Зойка слетала за фельдшерницей, та констатировала:

— Скорей в больницу.

Санька приехал с колхозного двора на тракторе — грязно, машина до райцентра может не пройти. Сильных болей еще не было, и Саша, забравшись в кабину, с улыбкой слушала сквозь отчаянный рев мотора, как мать ругается с Костей:

— Ты куда собрался?

— В больницу.

— Пешком?

— Пешком.

— Да ты с ума сошел! Отец отвезет ее, потом за тобой приедет. Шутка дело — семь километров! По нашей-то грязи!

В палате она первым делом повесила на больничную койку бабушкины рябиновые бусы:

«Ну, бабушка, за первой ягодкой пришла».

И тут началось...

Поначалу, когда накатывала боль, Саша сжимала зубы и впивалась руками в железные прутья кровати — помогало. Когда боль уходила, она говорила себе: это — все, это — предел, сильнее болеть не будет, разве можно — еще сильнее?

Оказалось — можно. Когда начались новые схватки, она, не выдержав, закричала:

— Не могу! Не могу больше! Помогите!

Вошедшая в палату дежурная сестра раздраженно буркнула:

— У нас не кричат, милочка. Не распускайте себя.

А Саше уже казалось, что ее спина превратилась в обычную деревянную доску и эту доску неведомая, жестокая сила пытается разломать пополам. «Господи, — задыхнулась она от боли, — но ведь я же живая! Как же можно: живое — ломать?!» Ухватившись за решетку кровати, она наткнулась рукой на рябиновые бусы. «Бабушка, какие детки? Это выше моих сил! Я не хочу, не могу, не хочу...»

Суровая нитка разорвалась в ее руках, как паутинка, и красные ягоды, освободившись, рассыпались по больничному полу.

— Ты... что?

— У тебя... все в порядке?

— Все. Ты бледный, как полотно. Ты... Из-за меня?

— Если бы ты знала, что я пережил. Ты... Ты больше не будешь рожать. Никогда!

Больничное окно было не совсем чистым, и, может быть, еще и потому Костино лицо казалось таким жалким, таким неприбранным...

Она смотрела и смотрела на него, а потом вдруг засмеялась — тихо, без голоса, одними только глазами.

И вот они снова дома. Позади длинный, хлопотливый день: выписка из роддома, дорога домой, первое купание малышки. «Настенька, — сказал молодой отец. — Мы назовем нашу дочь прекрасным русским именем — Настя».

Теперь, слава Богу, ночь, мать с отцом спят на печи, они с Костей одни. Нет, не одни — с дочкой.

Вот она, Настенька, лежит на бабушкиной кровати.

Когда встал вопрос, куда класть дочурку, она без колебаний сказала:

— На бабушкину кровать.

— А... не боишься? — переспросила мать

— Не боюсь. И качать на ней удобно, если заплачет.

Но дочка, умница, не плачет пока, и можно отдохнуть ото всего, поговорить в тишине.

— Кость, а бусы-то я рассыпала. Те, что бабушка подарила.

— Вот и хорошо, новые тебе сделаю, — горячим шепотом отозвался муж. Она, как и в больнице, засмеялась от этих слов — уже с голосом, но тихо, чтобы не разбудить дочь.

— Кость, а ты дурачок. Хоть и ученый... Да ведь для того, чтобы они не рассыпались, достаточно одной-единственной ягодки...